

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 25

Басня и быль о Есенине

Крик.

Крик и холод.

Холод, выевший, словно зверь, внутренности, сменился адской жарой. Дышать было нечем, и казалось, что капли не пота, а крови проступают сквозь кожу.

Это была “пробковая камера”, в которой Клюеву довелось пробыть три дня, о чём он потом с непреходящим ужасом рассказывал Иванову-Разумнику.

“Много горя и слёз за эти годы на моём пути было. Одна скорбь памятна. Привели меня в Питер по этапу, за секретным пакетом, под усиленным конвоем. А как я перед властью омылся и оправдался, вышел из узилища на Гороховой, как веха в поле, ни угла у меня, ни хлеба...”

Кто допрашивал Клюева и на какой предмет — не установлено по сей день. Принимал ли участие в допросах сам начальник Петроградского ГПУ Станислав Мессинг? Что из поэта пытались вытрясти? И как именно он “омылся и оправдался”?

Арест был, безусловно, связан с кампанией по ограблению церкви. Сестра Клюева Клавдия Расщеперина рассказывала потом Есенину, что “Клюев был комиссаром по отбиранию церковных ценностей, что-то оказалось нечисто... и его посадили” (это известно со слов Галины Бениславской). Доверять подобным свидетельствам нет никакой возможности — Клавдия давным-давно разорвала отношения с братом, как “не ледящим и не путящим”, да ещё и на пару с мужем обокрала его. Бениславская Клюева вообще ненавидела лютой ненавистью — и об этом речь впереди. Есенин же иной раз обронял нечто похожее со слов Клавдии, не задумываясь особо о достоверности сообщаемого.

Клюев, очевидно, входил в некую комиссию по изъятию ценностей, но если он и состоял в ней, то лишь с одной-единственной целью: спасти то, что можно спасти. Ведь при погроме храмов с икон обдирались золочёные ризы, а сами иконы или тут же летели в огонь, или забирались иными “уполномоченными” для развлечения в импровизированных “тирах” (подобный “тир” стоял, в частности, в личной бане Генриха Ягоды).

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 5–8 за 2011 год.

О том, как происходило подобное “изъятие”, рассказала во второй книге своих мемуаров неправославная Надежда Мандельштам: “Весёленькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идёт “изъятие”. Происходило оно совершенно открыто – не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и никто нас не остановил. Священник, пожилой, встрёпанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слёзы, когда сдирали ризы и роняли иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем... Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слёзы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как проходит изъятие... Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища... Он ещё сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих, а не будут истрачены на “мировую революцию”...”

Что-то страшно-провидческое происходило на глазах Николая.

“Обезьяныча церковь от ярости, от скрежета зубовного на Фаворский свет, на веянье хлада тонка, на краснейший виноград красоты и правды народной...”

От крови Авеля до кровинки зарезанного белогвардейцами в городе Олонце ребёнка взыщется с Церкви.

Кровь русского народа на воздухах церковных...

“Приду и сдвину светильник твой с места его...” Это не я говорю, а в Откровении прописано, – глава вторая, стих же пятый побждающий”.

Так писал он в 1919-м, в “Сдвинутом светильнике”.

В стихах того года ещё и похлеще было:

*Приводит в лагерь славы
Возмездия тропа.*

.....
*За праведные раны,
За ливень кровавой
Расплатятся тираны
Презренной головой.
Купеческие туши
И падаль по церквам,
В седых морях, на суше
Погибель злая вам!*

(Как нарочно, перепечатка именно этих стихов в “Трудовом слове” в 1923-м стала его последней прижизненной публикацией в вытегорской печати.)

И ныне, видя своими глазами эту “злую погибель”, словно в перевёрнутом зеркале, он видел и стародавние события знаменитого зорения Выговской пустыни и Иргизских скитов в конце царствования Николая I. “... Все эти очаги русской культуры были по инициативе и настоянию официальной иерархии разорены и разграблены. Старя Русь пережила новое нашествие варваров. Старообрядцы были поставлены вне закона, и с ними и с их имуществом могли делать всё, что угодно”.

Так писал в 1916-м Иван Кириллов, приводя в подтверждение слова Даниила Мордовцева:

“Недаром до сих пор саратовские старожилы, которые помнят, когда и как уничтожались Иргизские скиты, рассказывают, что некоторые из мелких официальных лиц, принимавших участие в фактическом уничтожении скитов, набивали громадные сундуки серебряными ризами от ободранных икон и другими сокровищами, скопленными раскольниками”.

И ныне “поживлялись” многие на разграблении церковей. А Клюев, видя, как превращаются в щепу и сгорают целиком иконы и старого, и нового письма, пытался спасти, что мог.

И не смел подумать о некоем свершающемся “справедливом возмездии”. Видел: новые варвары сменились варварами новейшими. Творящими злодеяния не во имя веры, а во имя безверия.

Тут вспоминался не “керженский дух”, а Фёдор Павлович Карамазов.

“— Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезать. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило!

— Да зачем упразднять?

— А чтобы истина скорей воссияла, вот зачем”.

И лишь услышав, что коли истина эта воссияет, то самого Фёдора Павловича “упразднят” — тот соглашается веру “не разрушать”.

А тут — рушили, не ведая сомнений. Спорадически, судорожно. Первая кровавая увертюра к грядущему “шторму небес”.

... В конце 1921 года Клюев, созерцая нарастающую антиправославную смертоносную волну, писал начало огромной “словесной иконы”, так и оставшейся незавершённой, воплотившей красу древней иконописи, что творила в его слове “артель” природных сил стародавней Руси.

*Я хочу аллилуить, как вёсны, Андрея,
Как сорочьи пролетья, овчинные зимы.
Не тебе, самоварное пузо — Рассея,
Мечут жемчуг и лал заревые налимы.
Не тебе в хлеборобье по тёплым овинам
Паскараги псалмят, гомонят естрафили.
Куманике лиловой да мхам журавиным
Эти свитки берёсты, где вещи были...*

.....
*Имена — в сельделовы озёрные губы,
Что теребят, как парус, сосцы красоты...
Растрепала тайга непогодные чубы,
Молодя листопад и лесные цветы,-
То горящая роспись “Судище Христово”.
Зверобойная желть и кленовый багрец.
Поселились персты и прозренья Рублёва
Киноварною мглой в избяной поставец,
“Не рыдай мене Мати” — зимы горностаи,
Всплески кедровых рук и сосновых волос:
Умирая в снегах, мы прозябнем в Китае,
Где жасмином цветёт “Мокробрадый Христос”.*

Именно здесь обозначилось в его поэзии впервые прямое противостояние Руси — “Рассее”.

В 1922-м Клюев не созерцал, в отличие от Мандельштама — он действовал. Всеми возможными способами он собирал осквернённые, а иной раз и покалеченные иконы, приносил их домой, реставрировал (он и это умел делать!), приводил в Божий вид, устанавливал на своём домашнем киоте, складывал в заветный сундучок... И, конечно, нарвался на донос — как и в ситуации с разбором его “партийного дела”.

“Ибо я услышал толки многих; угрозы вокруг; заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мной в мире, сторожат за мной, не споткнушь ли я; может быть, говорят, он попадётся, мы одолеем его и отмстим ему” (пророк Иеремиа).

Он хорошо помнил свои узилища в царской России. Словно предчувствуя что-то, меньше чем за полгода до ареста рассказывал Коленьке Архипову про свою прежнюю тюрьму в Сен-Михеле, про Выборгскую крепость, Харьковскую каторжную тюрьму и Даньковский острог... Сравнивал одно с другим? Едва ли. Только и было на уме, что молитва да жажда “отмыться и оправдаться...”

Оправдался. Как? Пока неизвестно. Факт остаётся фактом — он вышел из тюрьмы, и, как рассказывал Архипову, далее — “повёл меня дух по добрым людям; приотъелся я у них и своим углом обзавёлся”.

“Добрым человеком”, благодаря которому Клюев обзавёлся своим “углом”, был давний знакомый Илья Ионов, стихотворец, издатель, шурин все-сильного диктатора Петрограда Григория Зиновьева и давний знакомый поэта ещё по Петрограду 1918-го. Он выделил Клюеву комнату на улице Герцена (бывшей Большой Морской) в доме № 45.

Не просто с жидём помог. Ещё и договор подписал на книгу стихов “Ленин” объёмом “в 609 стихотворных строк” с условием выдачи аванса “в размере 25%”. Правда, на аванс рассчитывать особо не приходилось. Ионов имел репутацию чрезвычайно прижимистого издателя, который может много пообещать и немного при этом сделать.

Перевёз Николай свой скорб из родной и немилой Вытегры, перевёз и расставил всё в полуподвальной комнатке так, что стала похожа она на любимую крестьянскую избу. Многие, входившие в неё, позже вспоминали, что словно попадали в иной мир... На домашнем киоте — иконы дониконовского письма: Зосима и Савватий Соловецкие держат в руках городок с церквями; Богоматерь является Сергию Радонежскому; Авраам, Исаак и Иаков держат в руках души в белых хитонах... Складень Феодоровской Божьей Матери, Успение, иконы Спаса Богородицы и Иоанна Предтечи. Серебряная лампадка над ними. Старый расписной стол занимал большую половину комнаты, а отдельно в уголке стоял чёрный столик с точёными ножками, на котором Клюев разложил свои “университеты” — рукописные книги в кожаных переплётках с медными застёжками: “Апостол” с толкованием, “Поморские ответы”, “Стоглав”, Кормчая книга, Евангелие, Месяцеслов и Библия на немецком языке. В отдельном деревянном сундуке хранилась одежда и отдельно — материнские рубашки и платки, память о вечно любимой родительнице.

“В обиходе я тих и опрятен. Горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и лоснится. Лавка дресвяным песком да берёстой натёрта — моржовому зубу белей не быти...”

Перевести бы дух Николаю — крыша, слава Богу, над головой есть. В городе не больно-то любимом, да хорошо знакомом — где его литературная слава началась. Где его любили, хвалили, потчевали... Где завидовали и в спину шипели...

А жить на что-то было надо.

Берлинское издательство “Скифы” выпустило ещё три года тому “Избяные песни” и “Песнь Солнца” — денег оттуда Клюев так и не дождался.

А по Питеру ходила про него всякая собачья чушь, которую охотно подхватывали талантливые любители сплетен.

“Утром встретил Брашиовскую, — записывал в дневнике Михаил Кузмин, — кланяется от Клюева, говорит, что тот написал хлыстов/ские/ песни, его два раза арестовывали, и теперь он сидит в Госиздате. Если бы не шарлатан, было бы умирительно”.

Отношение к Клюеву, как к шарлатану, сформировалось давно. “Шарлатан” буквально нищенствовал — и это была общая участь многих тогдашних писателей.

Из дневника Корнея Чуковского от 14 октября 1923 года:

“На лицах отчаяние. Осень предстоит тугая. Интеллигентному пролетарию зарез. По городу мечутся с рекомендательными письмами тучи ошалелых людей в поисках какой-нибудь работы. Встретил я Клюева, он с тоской говорит: “Хоть бы на ситничек заработать!” Никто его книг не печатает. Встретил Муйжеля, тот даже не жалуется, — остался от него один скелет суровый и страшный... Что делать, не знает. Госиздат не платит, обанкротился. В книжных магазинах, кроме учебников, никто ничего не покупает. Страшно...”

А когда Чуковский вместе с Ахматовой и Евгением Замятиным взялся составлять список нуждающихся русских писателей — ни Ахматова, ни Замятин не назвали ни одного имени. Словно впали в ступор. Чуковский сам взялся за дело и означил имена Муйжеля, Ольги Форш, Сологуба, Николая Тихонова, Иванова-Разумника, Ахматовой и даже столь нелюбимой им Лидии Чарской. О Клюеве он и не вспомнил.

... Кроме “Ленина” Николай пытался переиздать “Львиный хлеб” в новой композиции. Ничего из этой попытки не вышло, хотя писатели и пытались помочь. Константин Федин писал Павлу Медведеву:

“Уважаемый Павел Николаевич!

Сообщите, пожалуйста, Н. Клюеву, что при “Круге” в начале наступающего литературн/ого/ сезона организуется автономная секция писателей, которые будут именоваться, вероятно, “крестьянскими”. Секцию организует Серг/ей/ Есенин, который имеет в виду пригласить Клюева войти членом в эту организацию. Я прошу со своей стороны Клюева войти в непосредственные или через “Круг” сношения с Есениным касательно издания у нас клюевского дополненного “Львиного хлеба”...”

Медведев показал это письмо Николаю... Вот и Серёженька дал о себе знать! Кто же поможет, как не он?

Как рассказывал потом Клюев Архипову под запись последнего: “Раскинул размысли: как дальше быть? И пришло мне на ум написать письмо Есенину, потому как раньше я был наслышан о его достатках немалых, женитьбе богатой и лёгкой жизни. Писал письмо слезами, так, мол, и так, мой песенный братец, одной мы зыбкой пестованы, матерью-землёй в мир посланы, одной крестной клятвой закляты, и другого ему немало написал я, червонных и кипарисных слов, отчего допрежь у него, как мне приметно, сердце отеплялось”.

Есенин же в это время по возвращении из-за границы буквально не знал покоя. Разорвав отношения с Дункан, пресекши всю прежнюю дружбу с Мариенгофом, бездомный, бесприютный – он жил в переполненной квартире у своей подруги Галины Бениславской и мечтал издавать свой собственный журнал. Возобновил отношения с прежними друзьями – Сергеем Клычковым, Петром Орешиним, Пименом Карповым, приехавшим в Москву Александром Ширяевцем. Пришёл на приём к Троцкому с разговором о журнале, который должен называться “Россияне” – в новой России должна в полный голос заговорить “крестьянская купница”. Наркомвоенмор с дьявольской ухмылкой дал добро: дескать, держайте, издавайте, но ответственность всю – политическую и финансовую – берите на себя... Есенин ощутил холод “каменной десницы”, почувствовал, что это “покровительство” не сулит ничего доброго – и отказался.

Тем не менее мысли о журнале не оставил. Рассчитывал выпускать его при Госиздате на правах “самостоятельной сметы” объёмом тридцать печатных листов. Жаждал быть единоличным редактором – и тут же столкнулся с сопротивлением Клычкова и Орешина, которые хотели равных прав в отборе материала.

И тут – приходит письмо от Николая.

“Письмо это было от поэта Н. Клюева, – вспоминал Семён Фомин, – который жаловался Есенину на своё тяжёлое положение, упоминал про гроб, заступ и могилу”. Анна Назарова, подруга и соседка Бениславской по квартире, воспроизвела по памяти отдельные строки: “Умираю с голоду, болен. Хочу посмотреть ещё раз своего Серёженьку, чтоб спокойней умереть”. Серёженька взбудоражился, разволновался. Бросил все дела и отправился в Питер в сопровождении Ивана Приблудного, Александра Сахарова и Иосифа Аксельрода – прихлебателя и собутыльника, волочившегося в этот период за Сергеем, как хвост за собакой. Отправилась весёлая компания так: безденежный Есенин и Приблудный в жёстком сидячем вагоне, денежный Сахаров и Аксельрод – в мягком.

Раздребеженный Есенин, пытающийся успокоить себя алкоголем и оттого ещё более взвинченный, весь на нервах от мысли, что сбываются самые дурные его предчувствия, которые он, возвращаясь из Америки, излагал в письме к Кусикову (“Теперь, когда от революции остались только клюнь да трубка, теперь, когда жмут руки и лижут жопы тем, кого раньше расстреливали, чувствую, что и я, и ты будем той сволочью, на которую можно всех собак вешать. Перестая понимать, к какой революции я принадлежал. Знаю только, что ни к февральской и ни к октябрьской. Наверное, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь...”). Эх, не в этом бы состоянии встретиться ему с Клюевым. Ну да в таких случаях не выбирают.

И встретились...

“В городе дни – чердачные серые кошки, только растопляю я раз печку: поленья сырые, горькие, дуну я на них, глотаю дым едучий. – вспоминал Клюев. – Выело у меня глаза дымом, плачу я, слёзы с золой мешаю, сердцем в родную избу простираюсь, красную лежанку вспоминаю, избяной разорённый рай... Только слышу, позад меня стоит кто-то и городским панельным голосом на меня как лошадь нукает: “Ну, ну!” Обернулся я, не признал человечину: стоит передо мной стрюцкий, от каких я на питерских улицах в сторону шарахаюсь. Лицо у него не осеннее и духом от него тянет погибельным, нос порожком, как у ночной девки, до бела присыпан и губы краской подведены. Есенин – внук Коловратов, верба рязанская!”

Несколько лет они не виделись. И страшные предчувствия Клюева, мнилось, оправдываются. “Какая ужасная повесть!” Продаёт Серёженька, как баба, поэзию – и сам на продажного стал похож. Верные слухи дошли!

Оба помнят прежнюю дружбу, любовь, духовное единение. Клюев для Есенина – по-прежнему учитель. Есенин для Клюева – певущий лик, верба

рязанская... Смотрят друг на друга – и узнают, и не узнают. Что-то необратимо изменилось в каждом. И каждый понимает, что теперь – с ним, с переменившимся старым другом, идти одной дорогой. Долгой ли, короткой ли...

А у Клюева ещё и мысль: вот она, жизнь лёгкая, достаток немалый к чему привёл... Не имел он никакого реального понятия о есенинской жизни и его “достатке”...

“Поликовался я с ним как с прокажённым; чую, парень клятву преступил, зыбке своей изменил, над матерью-землёй надругался, и змей пёстрый с крысьей головой около шеи его обвился, кровь из его горла пьёт. То ему жребий за плат Вероники; задорил его бес плат с Нерукотворным Ликом России в торг пустить. За то ему язва: зелёный змий на шею, голос вороний, взгляд блудный и весь облик подхалюзный, воровской. А как истаял змиев зрак, суд в сердце моём присудил – идти, следа не теряя, за торгашом бисера песенного, самому поле его обозреть; если Бог благословит, то о язвах его и скверностях порадеть...”

“Пилою-рыбой кружит Есенин меж ласт родимых, ища мету”, – вспомнилось из “Четвёртого Рима”.

* * *

Чем дальше вспоминал Клюев про этот приезд Есенина – тем чернее краски наслаивались, тем жутче реалии становились, тем кошмарнее образы наплывали один на другой.

“Н а л а я л (разрядка моя. – С. К.) мне Есенин, что в Москве он княжит, что пир у него беспереvodный и что мне в Москву ехать надо”.

А Есенину нужно было залучить Клюева. Как поддержку, как опору в дальнейших литературных боях. Не думал и думать не хотел, что Клюев здесь, в литераторских ристалищах – не боец.

Рассчитывал на него, как на старого друга – после всех полемик, ссор и охлаждений. И могла бы дружба эта обрести новое качество, – да не в той атмосфере, в какой оказались в Москве оба.

А главное для самого Николая – полная потеря Есениным самого себя, прежнего. Сквозь “блудную” оболочку – чёрный лик его глазам проступил.

О путешествии из Петербурга в Москву вспоминал: “схвачен человек железом и влачит человека железная сила по 600 вёрст за ночь”. И под стать железной силе – “чёрный” Есенин, который “лакал винаща до рассветок”, “проезжающих материл, грозил Гепеу... дескать, он, Есенин, знаменитее всех в России, потому может дрызгать, лаять и материть всякого”.

В глазах Николая друг его – уже почти не человек.

И одна мука для Клюева сменяет другую: друг его “всякие срамные слова орал”, пока на извозчике к дому не подъехали. А подъехали – так окунулись в есенинский – натурально бесовский – быт. Дескать “встретили... девочки, штук пять или шесть, без лика женского, бессовестные. Одна в розовых чулках и в зелёном шёлковом платье. Есенинской насадкой оказалась”. В ужас пришёл Николай “от публичной кровати”, а ночью, после угощения, снилась ему “колокольная смерть. Будто кто-то злющий и головастый чугуном пестом в колокол ухнул”, – проснулся “с лвиным рыком в ушах” оттого, что “мой песенный братец над своей половиной раскуражился”. И тут в своих видениях Клюев уже не знает удержу: мнится ему, что Есенин “голый, окровавленный, бегаёт по коридору, в руках по бутылке. А половина его в разодранной и залитой кровью сорочке в чёрном окне повисла, стёкла кулаками бьёт и караул ревет...” А тут ещё “мужчина костистый огромный... с револьвером в руке... по Есенину в коридоре стрелять начал...”

Послушаешь – так и в самом деле в ужас придёшь. Только волей-неволей обращаешься к заголовку архиповской записи, явно продиктованной Клюевым: “Бесовская басня про Есенина”.

Мало того, что “басня”. Клюев сам прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что бес его водил, крутил, путал – когда он вспоминал гощение у Есенина. Чёрные сущности всплывали в памяти. И не до истины тут было. Бес нашёптывал – а Николай за ним повторял.

Хуже нет греха, чем на любимого друга, пусть и некогда любимого, наговорить. Тем более что в лишнем очернении есенинский быт той поры и так не нуждался. В тяжёлую обстановку угодил Клюев.

Не было, конечно, в квартире Бениславской никаких “есенинских насадок”, никто ни над кем не куражился и не палил в Есенина из револьвера. Но от этого – всё равно не легче.

В квартире кроме Галины и её подруг – Анны Назаровой, Софьи Виноградской, Яны Козловской (которая уступила свою комнату Клюеву), жили ещё Михаил Грандов и его жена Елена Кононенко (которую Грандов бешено ревновал к Есенину). Постоянно приходил безработный и такой же неустроенный Алексей Ганин, а вместе с ним – компания есенинских прихлебателей: Аксельрод, Марцелл Рабинович, неизменный Иван Приблудный... С журналом ничего не получалось, и друзья-приятели проводили время в “Стойле Пегаса”, где Есенин, беря свою долю из выручки, расплачивался по всем счетам. О “Стойле” Клюев рассказывал Архипову уже в ритме бесовского удара копытом.

“С полуночи полнится верхнее стойло копытной нечистой силой. Гниющие девки с бульваров и при них кавалеры от 13-ти лет и до проседи пёсьей. Старухи с внучатами, гимназисты с рарá. Червонец за внучку, за мальчика два. В кругу преисподнем, где конские ядра и с мясом прилавки (грудинка девичья, мальчонков филей), где череп ослиный на шее крахмальной – владыка подпольный законы блюдёт, как сифилис старый за персики выдать, за розовый куст – гробовую труху, там бедный Есенин гнусавит стихами, рязанское злато за гной продаёт...”

Здесь уже воскрешают в памяти адские картины, отсылающие к давней поэме Алексея Ганина “Сарай”.

Клюев, сидя за столом в компании, где вино лилось рекой и пили все, иной раз тайком, беря грех на душу, выпивал из есенинского бокала, чтобы другу меньше досталось. Смотрел на него, как на потерянного. Стороннему наблюдателю, зашедшему в “Стойло”, вполне могло показаться, что Николай участвует в пьянке наравне с остальными. Ещё и тут нашёл повод для разговоров о клюевском лицемерии.

Бениславская вспоминала, как Клюев, сбжавший от пьяной драки, приключившейся в Союзе поэтов, “стал такие ужасы рассказывать, что всё в его повествовании превратилось в грандиозное побоище, я думала, что никто из бывших там в живых не останется, а через десять минут пришли все остальные как ни в чём не бывало”. Ей невдомёк было, что Николай видел во всём происходящем кривляние и гульбу бесов, покинувших людские оболочки, что натуральную кровь он не столько видел, сколько прозревал и знал, что все эти милые участники пьяных потасовок, погоняемые чертями, несутся сломя голову к адской пропасти.

Он прилагал все усилия, вопреки утверждениям той же Галины, чтобы не оставлять Есенина одного в “Стойле” и по возможности уводить его от туда вовремя домой или в другое место, где никто не стал бы разливать водку. “Поэт Клюев, совсем не пивший или изредка пивший очень мало, неизменно уводил нас в вышеуказанное место в Брюсовском переулке (тогдашнее местожительство Есенина. – С. К.)”, – показывал Ганин после своего ареста по делу “Ордена русских фашистов” на допросе в ГПУ. Он же вспоминал, как Клюев увёл их в мастерскую Коненкова, где собравшиеся обсуждали работы скульптора и гульбу о высоком искусстве. А 25 октября они трое, Клюев, Есенин и Ганин, выступали в Доме учёных на “Вечере русского стиля”. Как сообщила газета “Известия”, “в старый барский особняк, занимаемый Домом Учёных, пришли трое “калик переходящих”, трое русских поэтов-бродяг... Выступление имело большой успех”. Большой успех – мягко было сказано. Публика была совершенно ошарашена и порена услышанным.

Клюев читал стихи из “Львиного хлеба”, которые потом он объединил в цикл “Песни на крови”.

*Псалтырь царя Алексия,
В страницах убрусы, кутья,
Неприкаянная Россия
По уставам бродит, кряхтя.*

*Изодрана душегрейка,
Опальный треплется плат...*

*Теперь бы в сенцах скамейка,
Рассказы про Китеж-град,*

*На столе медовые пышки,
За тыном успенский звон...
Зачураться бы от наслышки
Про железный неугомон,*

*Как в былом всхрипнуть на лежанке...
Только в ветре порох и гарь...
Не заморскую ль нечисть в баньке
Отмывает тишайший царь?*

*Не сжигают ли Аввакума
Под вороний несметный грай?..
От Бухар до лопского чума
Полыхает кумачный май.*

Каждая строчка огненной искрой пробивала переполненный зал. А финальная строфа, пророчащая о новом небе и новой земле, о начале новой истории, довела его до иступления.

*В лучезарье звёздного сева,
Как чреватый колос браздам,
Наготою сияет Ева,
Улыбаясь юным мирам.*

И здесь воочию обозначилась пропасть между нынешним Клюевым и нынешним Есениным. Клюев от кошмара настоящего, опрокинутого в прошлое, в никонианскую эпоху, уходил к грядущим временам Воскресения мира... Есенин — весь был в кошмаре современности.

Клюев с опущенной головой слушал отчаянные есенинские выкрики в пространство.

*И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.*

*Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.*

(Эта “мертвячина” потом и найдёт своё место в “Бесовской басне про Есенина”).

*Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.*

*Жалко им, что октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.*

“Боже милостивый! Что ж он творит? Так и головы не снести. И сам на нож напорется...”

Дома Есенин просил ещё Клюева читать стихи. И Клюев читал, и собравшиеся вокруг женщины млели от восхищения, а потом, когла он уходил, ругая ругали его: и обжора он (а они тут впроголодь живут), и ханжа, и подлец,

и притворщик, и Есенину нашёптывает всякие юдофобские речи, разжигая в Серёже антисемитские настроения. . . Клюев, в самом деле, не скрывал своего отношения к происходящему. Рассказывал – кто и как допрашивал его во время ареста, что сажали его в тюрьму и держали в пыточной “пробковой камере” угнездившиеся в ГПУ “жиды”, что вообще “жиды правят Россией”. “Клюев. . . тихо, как дычок великим постом, что-то читает в церкви, – писала потом Анна Назарова, – соболезнавал о России, о поэзии, о прочих вещах, погубленных большевиками и евреями. Говорилось это не прямо, а тонко и умно, так что он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего. . .” Для Клюева ещё одна рана – невозможность толком поговорить с Есениным по душам. Девицы, как бы он любезно с ними ни обходился – чужие. И их враждебность к себе он ощущал буквально кожей. И всё же пытался вылить Есенину свою боль.

Это была не только его боль. Любой думающий человек не мог не видеть, что происходит в стране. Замечательный востоковед Нина Викторовна Пигулевская писала в 1922 году: “Я в своё время исповедовала такое убеждение: коммунизм строит здание и строит без креста, но когда достроит до конца, мы сделаем купола, поставим крест и всё будет хорошо. Я так думала. Теперь иначе. Я знаю, что из ратуши церквей не делают. Теперь строится синагога сатаны, из которой – сколько колоколов ни вешай, ничего не сделать”.

Кандидат в члены интеллектуального кружка, названного “Космической академией наук” (членом которого был, в частности, известный специалист по древнерусской литературе Д. С. Лихачёв) Д. П. Каллистов записывал в своём дневнике: “Иудеи принадлежат к той части людской породы, которой чуждо чувство ложной застенчивости. Поэтому они уже давно, совершенно не стесняясь, смело садятся на шею революционного народа. . . И идут они с запада и с юга, целыми полчищами оседают в русских городах, занимают лучшие русские земли. А мы всё продолжаем услужливо улыбаться, а мы всё кланяемся.

Кто они, эти пришельцы? Они действительно те, кто принёс нам “классовое сознание извне”, кто сотворил над русской бедной головой варварскую операцию, после которой и вода – суха, и жид – русский, и революция – величайшее завоевание, но только их, а не наше. Вот почему глубоко прав товарищ Преображенский, когда говорит, что контрреволюция – это антисемитизм. Прибавим то, чего не хватает в этой формуле и что из неё непременно следует: революция – семитизм. Характерно, что о том, что контрреволюция – антисемитизм, уже пишут в газетах, а о том, что революция – семитизм, русские ослы боятся и подумать. . . Если революция это власть жидов – к чёрту такую революцию, пора проститься. Пора понять, что происходит. Пора трезво отнестись к проекту палестинских жидов переехать на их настоящую родину, то бишь в нашу многострадальную матушку Русь. . .”

Пройдёт ещё несколько лет, и В. Вернадский напишет в письме к И. Петрункевичу: “Москва – местами Бердичев; сила еврейства – ужасающая, а антисемитизм (в коммунистических кругах) растёт феудально”.

Может быть, люди фантазировали? О какой фантазии может идти речь, когда со страниц газеты “Известия” неслось: “У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная”? Когда ей вторила газета “Правда”: “Писатели должны выкинуть за борт литературы мистику, похабщину, национальную точку зрения”? Мало того, что “национальная точка зрения” отождествлялась с “похабщиной”. Та же “Правда” печатала достаточно красноречивые стихи:

*Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.*

И со всех правительственных трибун неслись призывы к борьбе с “великорусским шовинизмом” и заявления, что русские должны поставить себя “в положение более низкое по сравнению с другими. . .” В зверском антиправославном терроре невооружённым глазом был виден почерк людей, которых с мамолетства воспитывали в ненависти к Христу. . . Церковный погром сопровождался введением цензуры – утверждением Главного управления по делам литературы и искусства, которое в первую очередь выискивало признаки всё того же “великорусского шовинизма”. Началась чистка библиотек от религиозной и “шовинистической” литературы. И одновременно было утвержде-

но положение об основании Соловецкого лагеря особого назначения. И всё это вместе взятое – сразу по окончании Гражданской войны.

Хорошее время выбрали собратья-писатели “из недр трудового крестьянства”, чтобы создать свою группу и основать журнал “Россияне”!

Через год Алексей Ганин набрасывает тезисы под названием “Мир и свободный труд народам”, где открытым текстом выскажется по поводу происходящего в стране.

“Вполне отвечая за свои слова перед судом всех честно мыслящих людей и перед судом истории, мы категорически утверждаем, что в лице господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности – средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников... Достаточно вспомнить те события, от которых всё ещё не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров оголтелые, вооружённые с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками банды латышей беспощадно терроризировали беззащитное сельское население... Наконец, реквизиции церковных православных ценностей, проводившиеся под предлогом спасения голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли голодной смертью целые сёла, разве не опустели целые волости и уезды цветущего Поволжья?.. Путём неслыханной в истории человечества кровавой жестокости, воспользовавшись временной усталостью народа, эта секта, пробравшись в самое сердце России, овладев одной шестой частью суши земного шара и захватив в свои руки колоссальные богатства России, с ещё большей энергией и с большим нахальством проповедует свои гибельные теории, прикрываясь маской защитников угнетённых классов и наций... Завладев Россией, она вместо свободы несёт неслыханный деспотизм и рабство под так называемым “государственным капитализмом”. Вместо законности – дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного строительства – разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости – неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда – труд государственных бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Всё многомиллионное население коренной России и Украины, равно и инородческое, за исключением евреев – брошены на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов...”

Необходимо, чтобы наша борьба с этой грабительской сектой была успешна. Все лучшие силы России перенести на пропаганду государственно-национальных идей с тем, чтобы вовремя и заблаговременно недовольству масс дать в противовес большевизму ясные формы и лозунги национально правового государства, и взамен жидовского III Интернационала выдвинуть идею Лиги наций как единственной международной организации, которая предупредит правовые международные столкновения между государствами... Необходимо объединить все разрозненные силы в одну крепкую целую партию, чтобы её активная сила могла не только вести дальнейшую работу и противостоять не за страх, а за совесть враждебной нам силе, но сумела бы в нужный момент руководить стихийными взрывами восстания масс, направляя их к единой цели. К великому возрождению Великой России”.

За этот текст Ганин заплатит самую дорогую цену. Ни Есенин, ни Клюев не видели его в письменном виде, но свои идеи Ганин, безусловно, обсуждал со своими друзьями. Зёрна падали на уваженную почву – Есенин уже закончил вчерне “Страну негодяев”, где главный её герой – Номах – произносит давно наболевшее, идущее от самого Есенина и перекликающееся по смыслу со словами Ганина:

*Я верил. Я горел.
Я шёл с революцией.
Я думал, что братство
Не мечта и не сон.
Что все во единое море сольются,
Все сонмы народов, и рас, и племён...
Пустая забава.
Одни разговоры.*

*Ну что же?
Ну что же мы взяли взамен?
Пришли те же жулики,
Те же воры,
И вместе с революцией
Всех взяли в плен.*

А черновой вариант стихотворения сохранила Галина Бениславская в своих записях:

*Защити меня, влага нежная!
Май мой синий! Июнь голубой!
Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.*

Всё это, вместе взятое, служит достаточным опровержением утверждения Бениславской, что во всех взрывах Есенина повинен Клюев с Ганиным впридачу (и это мнение до сего дня имеет своё хождение!). Ненависть Бениславской к Клюеву прорывалась иной раз так, что её бывший любовник Покровский, наслушавшись бабьих жалоб, ответил письмом, где предлагал буквально следующее:

“Дошли до нас слухи, что ты неделю не будешь выходить из дома... не бегай по “стойлам” и не устраивай “стойл” у себя... Нужно подговорить Эстрина сломать поэту Клюеву шею или в крайнем случае набить морду...” (Кстати сказать, не отсюда ли у Бениславской в перевернутом виде родилась в её воспоминаниях версия о том, как “есенинская компания” хотела “избить” её саму, чтобы оставить ненаглядного Сергея Александровича в своей власти и чтобы Галина Артуровна “не путалась под ногами”?)

Что же, Клюев этого всего не чувствовал? Не предугадывал? Не ощущал?

Да и само по себе пребывание в квартире у Галины чем дальше, тем больше становилось ему в тягость. Есенин не упускал случая подчеркнуть своё превосходство — поэтическое и мировоззренческое. Он, дескать, лучше понимает современность, чем Клюев — отставший, затерявшийся в исторических дебрях... Собственно, даже и подчёркивать этого было не надо. Просто тихо произнести, как само собой разумеющееся: “Какой он хороший... Хороший — но чужой. Ушёл я от него. Не о чем говорить стало. Учитель он был мой — а я его перерос...” Верно, ушёл — вот только куда? И перерос в чём-то, да во всём ли?

А тут ещё и Иван Приблудный вторил в письме к Бениславской. “...Всё дальше и дальше я вижу, как слаб мой (б/ывший/) Серёжа, а потом и Клюев, который вообще от любого ветра СССР свалится (подчёркнуто мной. — С. К.), а потом — что для меня всего больше — я перестал верить, что ОН (С. Е.) вообще считает меня талантливым...” И далее — о Клюеве: “...встретил Клюева, во Христе человека безобидного...”

Читаешь эти слова — и всерьёз перестаёшь верить Бениславской, которая утверждает в своих воспоминаниях, что, дескать, Клюев “к Приблудному проникся ревнивой ненавистью”, поскольку “в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному”, а тот “поднял Клюева на воздух и хлопнул что есть мочи об пол”... Подобное, как длинный мерзкий шлейф, ползло за Николаем десятилетиями и продолжает ползти по сей день. И сам он не мог не слышать ехидный шепоток за своей спиной, не видеть многозначительные переглядывания с ухмылочками окружающих.

Да что Бениславская! Мариенгоф, словно соревнуясь с прочими “конкурентами” в “турнире” на изобретение наиболее оскорбительных сентенций “Есенина” по отношению к “Клюеву”, договорился до того, что Есенин у него якобы произносит: “У Миколушки-то над башкой висит Иисус Христос в серебряной ризе, а в башке — корысть, зависть и злодейство”... Всё это чуть ли не со слов Галины — и чуть ли не теми же самыми словами... В “Романе без вранья” со слов третьих лиц воспроизвёл Анатолий монолог Клюева:

— Чего Изадору-то бросил... хорошая баба... Богатая... Вот бы мне её... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Серёженька, из поповского сукна себе справил...

Бениславская отмечала, что Есенин в это время “пускал пыль в глаза” насчёт своего мнимого богатства, и о его “безденежье” почти никто не дога-

дывался"... Можно себе представить реакцию Клюева, когда Николай убедился в том, что есенинский "пир беспереводный" и его "княженьё" — и есть эта самая "пыль в глаза"... Знакомство Клюева с Дункан добавило масла в огонь. Теперь любое путешествие Есенина с Клюевым в дункановский особняк на Пречистенке воспринималось как попытка Клюева "заменить для Дункан Есенина" — ни больше, ни меньше!

А Николай просто не хотел и не мог "сидеть на шее" у женщин, ненависть которых к себе он ощущал на расстоянии. Дункан же была ему всегда рада (Есенин по-свойски объяснил, что Клюев — гениальный поэт: как бы ни складывались, точнее, рушились их отношения — он неизменно превозносил Клюева как художника и буквально одаривал им недавно брошенную Изадору). И Клюев убедился, что в соответствии с давним сном Дункан "не такая поганая", как он думал. Более того — чем дальше, тем больше он проникался душевно к этой безоглядной, по-европейски взбалмошной и чрезвычайно непростой женщине. Красоту — именно красоту, а не "красивость" — он умел ценить, как мало кто. А за доброе к себе отношение оставался неизменно благодарен.

Он даже послал открытку с изображением Дункан Коленьке Архипову с короткой припиской:

"Сейчас узнал, что телеграмму тебе не послал камергер Есенина (имелся в виду Приблудный. — **С. К.**). Я живу в непробудном кабаке, пьяная есенинская свалка длится днями и ночами. Вино льётся рекой, и люди кругом без креста, злые и неоправданные. Не знаю, когда я вырвусь из этого ужаса. Октябрьские праздники задержат. Вымойте мою комнату, и ты устрой её, как обещал. Это Дункан. Я ей нравлюсь и гощу у неё по-царски. Кланяюсь всем".

На открытке сама Дункан надписала на английском языке: "Доброму и прекрасному поэту Клюеву. Айс Дун."

...Через несколько лет, прочитав в очерке Максима Горького "Сергей Есенин" крайне непристойные слова о Дункан ("Пожилая, отяжелевшая, с красным лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице её застыла ничего не говорящая улыбка..."), Клюев дал свой ответ, записанный Архиповым.

"Нечистью, нечуткостью, если не прямой жестокостью веет от слов Максима Горького об Айседоре Дункан, о её приезде в Париж (на самом деле — в Берлин. — **С. К.**) вместе с Есениным. "Дункан стара, толстое лицо, дряблкое тело" — всё это позволительно какому-нибудь маляру, пропущенному сквозь рабфак, а не художнику-старику, каким является сам Горький. Дункан своим искусством дала людям не меньше радости и восторга, чем Горький, а, наверно, побольше.

Я видел (на квартире художницы Любавиной в Петербурге в 1915 г. — **Примечание самого Клюева**) Горького 50-летним тяжёлым человеком, действительно с толстым старым лицом и шваброобразными толстыми усами, распалённым до поту от пляски дешёвой танцовщицы, воистину отвратительной даже для обывательского вкуса, всё хитрое ломанье которой вместе с молодостью кухарки не стоило движения мизинца старой Дункан".

...Расставание с друзьями не принесло радости. Есенин продолжал заботиться по мере сил — и о Ганине (уговорил Дункан дать денег на книжку его стихов — и последняя прижизненная книга Ганина "Былинное поле" вышла в Москве в 1924 году), и о Клюеве, которому он на свои деньги починил старую обувь (потом под перьями лихих мемуаристов эта история предстанет, как шитьё за есенинский счёт для Клюева новых шевровых сапог)... Николай уже не чаял, когда, наконец, уберётся из Москвы, и при первой возможности, в первых числах ноября, ни с кем не простившись, уехал в Петроград.

...Он никогда не увидит больше Александра Ширяевца — тому останется жить меньше года. Он в последний раз видел Алексея Ганина, которого расстреляют через год с небольшим в Лубянском подвале. Он ещё увидится с Пименом Карповым, который едва ли узнает Николая, а может, и не пожелает узнать... Ему доведётся услышать об отречении от него, от Клюева, Петра Орешина...

А Серёженька?

Серёженька появится в Питере летом 1924 года. Это уже — отдельная история.

(Продолжение следует)